

КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОРЕ



Николай Иванович Наумов

Еж

Рассказы и повести писателей-народников 70-80-х годов XIX века, отображающие жизнь русского крестьянства в пореформенный период: разорение деревни и процесс ее капитализации.

Содержание

#1	0005
ПРИМЕЧАНИЯ0057

Еж

Ненастный октябрьский день близился к вечеру. Ливший в продолжение нескольких дней дождь размыл глинистый грунт долины, пролежавшей в горах, заросших лесом. Безымянная речка, мелкая в другие времена года, на которой расположился с деревянными пристройками Г-ий прииск, бурливо вздулась от притока впадавших в нее с гор ручьев и грозила вырваться из плоских берегов и затопить прилегающие к ней низменности. Ветер выл в горах, нанося в долину тучи поблеклых листьев; мгlistый туман спускался на высокие верхи гор, заволакивая вершины громоздящихся на них сосен и елей и словно цепляясь за сучья их, когда, прорывая на минуту густую сеть его, ветер разносил его в пространстве разорванными клочьями. Подобная картина осени, неразлучно соединенная с холодом и сыростью, невольно щемит душу и манит скорее вырваться из негостеприимной в это время года тайги[1]. Приисковая администрация и рабочие равно спешат покинуть ее.

С утра в этот день работы были прекращены, и часть рабочих употреблена была на раз-

борку золотопромывательной машины; другие сдавали инструменты, которые вместе с частями разобранной машины складывались в сарай. Хлебопеки несколько дней с утра и до ночи сушили сухари для продовольствия рабочих на обратный путь. Приказчики приисковой конторы и материальные, заведующие вещевыми и продовольственными цейхгаузами, занимались сведением счетов. Рабочие тоже, в свою очередь, высчитывали, сколько придется получить им из заработной платы на руки. На изнуренных лицах их написано и сомнение в правильности ожидающего их расчета, неизбежно возбуждаемое в них каждый раз многолетним опытом, и радость отдыха со всеми наслаждениями, предстоящими при выходе из тайги в населенные пункты. Радость эта понятна только людям, знакомым с бытом особо выработавшегося в Сибири класса "таежников", как называет народ приисковых рабочих, на которых тяжелый труд и полная лишений жизнь кладет своеобразный отпечаток.

Крестьянин, попавший рабочим на прииски, иногда в течение многих лет бывает по-

ставлен в невозможность вырваться из этой среды и возвратиться к домашним занятиям благодаря тем условиям, какими обставлено его положение. Обыкновенно с ноября месяца и по апрель от золотопромышленников разъезжают по деревням и селам Томской и по округам смежных с ней губерний приказчики, заведующие наемкою рабочих. По заключении контракта при найме и засвидетельствовании его в волостном правлении рабочий получает задаток от 50 до 60 р., который иногда всецело идет на уплату причитающихся с него податей и недоимок, так как только эта необходимость, за неимением других заработков, и вынуждает большинство крестьян бросать свое хозяйство и идти на прииски. Получение билета рабочему благодаря притязаниям волостных писарей никогда не обходится дешевле 6 или 8 р., и затем из полученного задатка у него нередко не остается ни копейки. Он уходит, оставляя свою семью кормиться или милостыней, или ничтожною поденною работой. В контракт вносятся, со стороны рабочего, условия платы, всегда колеблющейся от 80 к. до 1 р. и ино-

гда 1 р. 20 к. с кубической сажени земляной работы, за исключением "старательских" дней, то есть праздников. За праздничную работу каждый получает отдельный расчет, смотря по количеству добытого золота. Со стороны нанимателя в контракт вносится обязательство продовольствовать рабочего во все время пребывания его на прииске "доброкачественною" пищею и снабжать продовольствием на обратный путь с приисков по окончании работ.

В последних числах марта или в начале апреля, по наступлении оттепели, рабочие сходятся из мест своего жительства на крайние населенные пункты, из которых идет дорога в тайгу. На этих пунктах их ожидают приказчики, которые по заключении контрактов отбирают у рабочих билеты. По мере сбора рабочих они группируются в партии и отправляются приказчиками на прииски. По прибытии на прииски рабочие по степени сил и навыка разбиваются на группы, соответственно с характером приисковых работ. Одни из них снимают турф, то есть верхний слой земли, всегда почти покрывающий на 1 1 / 2

аршина золотоносный пласт, и отвозят снимаемую землю тачками в отвал. Другие в это время разрабатывают очищаемую золотоносную залежь, сваливая песок и кварц в телеги, поднимая их лошадьми по особо устроенным деревянным откосам на верх золотопромывательной машины, или "фабрики", как называют ее рабочие. Иногда для успеха работ требуется отводить русла горных речек, и в этих случаях удваивается трудность работ. Часто самая промывка золота производится в довольно глубоких, вырываемых в земле, шахтах, причем редко принимаются предохранительные меры, и благодаря этой скупости рабочие часто платятся жизнью, погибая в обвалах. Немногим счастливым выпадает на долю легкий труд конюхов, наблюдающих за приисковыми рабочими лошадьми и упряжью и занимающихся только отвозкой нагружаемых песком телег на машину. Конюхи отправляют и обязанности ликторов относительно провинившихся рабочих, причем употребляются не одни розги, но и палки. Остальные обрекаются на труд, начинающийся с 3 часов утра, с коротким промежутком

для обеда, и продолжающийся до 9 часов вечера.

Нигде так не развита система закабаления рабочего, как на приисках, где за весь свой летний тяжкий труд работник выносит в очистку лишь несколько рублей, а нередко и копеек. На прииски всегда идет самый горький бедняк. Из задатка он не доносит до прииска и гроша и почти всегда во всю дорогу до прииска питается милостыней. На прииск он приходит оборванный, часто не имея рубахи на теле. А как много тут представляется ему соблазна! С какой предупредительностью предлагают ему взять из приискового вещевого цейхгауза и полушубок, и сапоги или бродни, и рубах, и чего только душа не пожелает. Какой же человек откажется от удовольствия иметь теплое новое платье, чистую рубаху, бродни или сапоги на ногах, из которых не сквозят пальцы и в которых ноги не чувствуют ни холода, ни сырости? И рабочий берет, побуждаемый не прихотью, а необходимостью.

Вещевые приисковые цейхгаузы наполняются обыкновенно вещами, идущими в брак

у городских торговцев, и скупаются гуртом золотопромышленниками за половинную цену. Эти-то вещи и сбываются рабочим по ценам до невероятности высоким. Например, хорошие бродни в городской лавке стоят 1 р. 20 к., залежалые и непригодные по своей непрочности к употреблению, они обходятся золотоприискателю в гуртовой покупке от 50 до 60 к. пара. Подобная же пара бродень, взятая рабочим, ставится ему в счет в 2 р. и 2 р. 50 к. Хороший полушубок рабочий мог бы приобрести в другом месте от 12 до 15 р., а взятый в приисковом магазине, весьма плохого качества, он обходится ему не менее 25 р. И так во всем остальном. При этом нужно сказать, что ввоз товаров на прииски посторонним торговцам, которые могли бы возбудить выгодную для рабочих конкуренцию, строго воспрещен, и потому волей-неволей рабочий должен брать из приискового магазина дорогие и непрочные вещи, которые он неизбежно сменит два-три раза в лето. Далее: рабочему полагается от хозяина по праздничным и воскресным дням чарка водки, которую он всегда аккуратно и получает. Но кому же не

понятно, что ежедневно изнуряемому 17-часовой непрерывной работой рабочему праздничной чарки недостаточно — и вот он пьет чарку ежедневно, такую чарку, в которую вмещается вина не более двух обыкновенных рюмок. Каждая такая чарка ставится ему в счет от 30 до 50 к., а иногда и просто по таким ценам, какие бог на душу положит[2]. Возьмет рабочий золотник чая из фунта стоимостью в 60 к. (то есть $5/8$ к. за золотник). Фунт сахара, стоящий в Сибири 50 к., обходится приисковому рабочему в 1 р. и более. Спрашивается, много ли вынесет он из своей заработной платы при окончательном расчете? Прямой интерес каждого хозяина приисков, старающегося заручиться рабочими и на будущее время, заключается именно в закабалении их всевозможными путями. Следовательно, чем более будет всяких приписок, начетов и недоразумений, тем скорее достигается его цель. Благодаря подобной системе рабочий остается или ни при чем, или с такою цифрою рублей, с которой ему не дойти и до дома, если б не выручала милостыня. А дома его ждет голодающая семья и совершенно павшее хо-

зьяйство, а на будущий год снова нужно платить подати. Что же остается делать, как не взять новый задаток и таким образом продолжать до тех пор, пока его не сломит на этих же приисках тиф.

Гигиенические условия, в которых находится приисковый рабочий, неминуемо приводят его к болезням. Пища, которую он получает во все время пребывания на прииске от хозяина, заключается из одной солонины, вопреки тексту контракта, доброкачественности весьма подозрительной. Достаточно ли может вознаграждать потери в организме, вызываемые 17-часовою работою, жиденький навар от солонины, с кислой капустой и крупами, с ржаными сухарями и только по праздникам с свежесдобытым хлебом? Прямым последствием подобного питания являются цинга, скорбут и тиф, особенно же последний, часто свирепствующий на приисках. К развитию тифа и ревматизмов много способствуют и условия работы среди постоянной сырости и холода. Сырость преследует рабочего и в тесных бараках, сколоченных из досок, где каждый из них спит на соломе, на-

сланной на землю.

Немногие из приисков, принадлежащие крупно-зажиточным компаниям, отличаются большим удобством в помещении рабочих и даже содержат больницы и лекарей, остальные ограничиваются полуграмотными фельдшерами при самом скудном каталоге медикаментов; да и что может сделать даже знающий фельдшер и хорошие медикаменты при тех условиях, в каких находится больной? Заболевшие рабочие лежат в тех же бараках, как и здоровые, то есть в холоду и сырости, при той же зараженной атмосфере от преющей грязной одежды, от дыма махорки и при той же пище из солонины. На каждом прииске найдется много могил, где обрели последний приют бесследно прожитые жизни. Вероятно, нелегка совокупность этих условий, к тому же соединенных с строгой дисциплиной (за каждый поступок назначается телесное наказание), что, несмотря на всю выносливость русского простолюдина, они вызывают в рабочих побеги и сопряженное с ними голодное скитальчество по лесам и острог после поимки.

От людей, служивших в приисковой администрации, много можно услышать рассказов о характерных облавах, которые устраиваются в лесах для поимки бежавших рабочих, о дикой, остервененной охоте на людей, не вынесших гнета приисковых порядков. И часто бывает, что рабочий, избежавший поимки, так и пропадает без вести, сделавшись жертвой голода или зверя.

Всмотревшись в оборванные толпы "таежников", выходящих в начале сентября с работ, в их изнуренные, исхудалые лица, наблюдатель по внешнему виду их прочтет горькую повесть страданий, выносимых этим людом. Он прочтет и всю меру злобы, развиваемой в них жизнью и людьми, и понятен станет ему тип этого оборванного, наголодавшегося человека и тот дикий разгул, с каким он пропивает кровью добытые деньги, забывая о семье, о доме и о хозяйстве. Что ему семья, дом и хозяйство, когда все его существо надломлено, когда для него нет просвета в будущем?

Точно блудящие огоньки, замелькали при наступлении сумерек фонари, при свете которых заканчивались дневные занятия. Туск-

лый отблеск огней мелькал и из окон длинного ряда бараков, сколоченных из сосновых досок, с конусообразными кровлями для стока дождевой воды. В них кипела самая разнообразная деятельность. Каждый рабочий, приготавливаясь к длинному пути, чинил рваный полушубок или зипун; кто прикреплял отпавшую подошву сапога или отвалившееся голенище бродня; иной штопал давно провалившийся верх фуражки или приделывал ремни к мешку под свой не обильный вещами скарб. Были и такие, что, наносив в корыта воды, выстирывали, примешивая к ней березовой золы за неимением мыла, заношенные рубахи или онучи, чтобы по выходе в населенные пункты выглядеть почище. Все с утра успели запастись ржаными сухарями и вяленой говядиной для продовольствия во время пути, и бережно уложенная в котомки провизия висела по стенам или на небольших протянутых жердочках.

Говор и смех не умолкали. Иные сводили между собой счет проигранным деньгам в "юрдон" и "трынку"; кто рассказывал для общего удовольствия длинные истории похож-

дений, какими богата жизнь каждого таежника. Иногда, где-нибудь в углу, затягивалась длинная, заунывная песня, в другое бы время подхваченная десятками сильных, звучных голосов, но теперь бесследно замиравшая в общей суматохе. Прикрепленные к стенам жировики лили тускло-багровый свет на черные, загорелые лица рабочих, копошившихся в этой душной атмосфере, наполненной миазмами и едким дымом махорки.

В одной из групп, расположившейся у жировика в переднем углу барака, на низком деревянном обрубке сидел, починивая бродни, человек средних лет, в засаленной ситцевой рубаше и в жилете. Протянутые на сбитый из глины пол босые ноги обращали на себя внимание уродливостью пальцев и мускулистой толщиной их. Такою же мускулистостью отличались и руки с засученными у плеч рукавами рубашки, то плотно сжимавшие бродень при прокалывании его шилом, то с силою стягивающие ремень, которым он прикреплял вместо дратвы отпавшее закаблучье. Время от времени он взбрасывал падавшие на глаза длинные волосы, открывая красивое оваль-

ное лицо, поражавшее правильностью линий. На углах сжатых губ, обрамленных темно-русыми усами и клинообразной бородкой, мелькала улыбка; тонко очерченные широкие ноздри постоянно вздувались как бы от внутреннего подавленного смеха. Но особенную оригинальность придавало наружности его выражение больших черных глаз, которые то вспыхивали и светились и что-то резкое, вызывающее, дерзко-насмешливое дышало в эти минуты в каждой черте его, то вдруг потухали, точно уходили куда-то вовнутрь, и вместе с тем самое лицо принимало безжизненный отпечаток.

Данила Филиппыч Карпов, известный более в Т... тайге под названием "Ежа", появился на приисках юношей и с тех пор не расставался с ними. Тяжесть работ и условий приисковой жизни преждевременно избородила лицо его морщинами и усыпала сединами темно-русые вьющиеся волосы; но преждевременно состарившаяся жизнь способствовала в то же время развитию природного ума, находчивости и не поддающейся препятствиям энергии. На каждом прииске он умел при-

обретать в среде рабочих любовь и доверие к себе, не порождаящие ни в ком зависти, как это часто бывает между людьми. Много тайлось в натуре его кипучей страстности, которая, помимо воли, обаятельно действует на людей и подчиняет влиянию подобных натур. Эта присущая ему сила сказывалась во всем, даже в мелочах.

На приисках, например, всегда немало найдется песенников с сильными развитыми голосами, пользующихся обширную славою. Уступая им, Еж все-таки умел петь так, что каждая нота его хватала слушателя за сердце, и в ее безыскусственных звуках выливался весь человек с душой страстной, любящей и детски-доверчивой. Мастер он был и на бойкое слово и на прибаутку. Иногда что-то наивное, детское проглядывало в этом сильном человеке, но в то же время он — ребенок — не позволял никому наступать себе на ногу, и люди, физически вдвое более сильные, нередко робели перед ним. Простые, самобытные натуры тем сильны, что в них нет выдержанной хладнокровной рассчитанности, с какою большинство людей относится к своим ближ-

ним. Они всегда и во всем искренни, смело глядят в глаза каждому и не задумываются перед опасностями, руководимые сознанием своей правоты. Это своего рода фанатики, смешные и непонятные для людей, выросших в правилах, усвоенных образованными сословиями. Там, где другие смиряются, подчиняясь необходимости или падая духом, они вооружаются всею силою своей страстной души, находят цель жизни в борьбе, не радуясь при торжестве и выказывая геройскую стойкость, когда сами становятся жертвами ее. Таков был и Еж. Он не любил, как и большинство людей с сильным, сосредоточенным характером, вдаваться в рассказы о себе и о своих подвигах, но самое название "Ежа", данное ему таежниками, метко характеризовало нравственный склад его и деятельность. Он не покинул ни одного прииска, не оставив по себе рассказа между рабочими, где бы энергичная фигура его не являлась протестующей против произвола и насилия.

Не обошлось у него без столкновения и с администрацией Г — о прииска. В числе рабочих был один старик, называемый "Рубцом"

за шрам, рассекавший левую щеку и губы. Это было ветхое существо, доживавшее на приисках свою страдальческую жизнь и превращенное временем в идиота. Силы постоянно изменяли ему, и труд, легкий для других, для него становился тяжестью. Но как покорное животное, привычное к работе, напрягая силы стащить грузный воз, наконец падает, так нередко падал и Рубец от непосильного для его лет напряжения. И как в тусклых глазах животного появляется в эти минуты выражение, молящее о помощи и пощаде, — такое же выражение принимали в подобных случаях и глаза всегда молчаливого Рубца. Он был жалок; молодежь смеялась над ним, он покорно улыбался в ответ на насмешки и шутки их. Однажды Рубца, работавшего в разрезе вместе с Ежом, надсмотрщик ударил по голове за какую-то сделанную им ошибку. Удар был так силен, что Рубец упал. Остальные рабочие, привыкшие к этим сценам, не обратили на нее внимания; но не то было с Ежом. Помогши Рубцу подняться на ноги, он тихо спросил надсмотрщика: "Кого ты бьешь? Есть ли в тебе душа... одумайся!.." Немногих

слов этих было достаточно, чтобы надсмотрщик накинулся и на непрошеного заступника. Но едва он ударил Ежа, как в виду всех рабочих покатился кубарем. С налитыми кровью глазами, с лицом, искаженным бешенством, Еж убил бы надсмотрщика, если бы вовремя не отняли его рабочие. "Задеру, задеру насмерть!" — кричал управляющий, приказав привести к себе Ежа, когда ему доложили о поступке его. Но, вероятно, и по фигуре пришедшего к нему Ежа, и по тону, каким он произнес: "Дери! я здесь!" — управляющий понял, с кем имеет дело, и молча ушел в свой дом. В тот же день Ежа перевели в дальний разрез на тяжкую работу, куда обыкновенно посылали только опальных рабочих. "Ну-у, несдобровать Ежу!" — шепотом говорили между собой рабочие, зная, что управляющий не из тех, которые прощают обиды...

Но возвращаясь к началу рассказа. Закрепив один бродень, Еж продолжал ту же работу над другим, изредка поправляя светильню чадившего жировика и прислушиваясь к шедшему около него разговору.

— Жиру мужику нагуливать и свыше доз-

воления нет! — произнес весьма пожилой рабочий, с большою лысиной на широкой голове и, высучив на голом колене толстую нитку вдвое, вдел ее к свету в иглу и обвел слушателей лукаво-насмешливым взглядом. — Жир мужику — баловство, на то об тебе и пекутся, чтоб ты не вырос свыше меры, а вырастешь — ну и обрывают с того конца, где у нашего брата ума боле. Ты вот погляди на скотину: поколь у ней ребра напоказ — смирна, а нагуляла жиру за лето — отколь и прыть возьметя! Так и мужичье дело. Дай-ко бы мужику завсе сытым быть... и-и неспособился бы! Что около сытого коня, то и около сытого мужика, други, ходи с оглядкой — бры-ы-ыкнет! Сытого-то мужика в узкий хомут не впряжешь!

— Нешто, Фрол Иваныч, мужиков-то впрягают? — прервал его молодой парень с худой, впалой грудью, сидевший поодаль от всех.

— Мужик-то, почитай, чище другой лошади на вожже-то ходит!

— Впервой слышу!

— А тоже лезешь с людьми разговаривать! Э-эх, Анчут, Анчут! Голова-то с овин, да в ови-

не-то клин! Знай же, что промеж тобой и скотиной та разница: на скотину хомут силой надевают, а ты в него сам лезешь да еще потуже затягиваешься! И хомут этот невидимка, простому человеку даже не в примету! А что, к слову спросить, Данила Филиппыч, — обратившись к Ежу, спросил он, — никак, у нас ноне с тобой до последней петли затянуто?

— Тугонько! — ответил Еж, взбросив волосы и открыв лицо, с которого не сходило веселое настроение.

— Много, по-твоему, денег-то придет?

— Не выговоришь...

— О-о! Выходит кругло ж, а?

— И кошеля экого не знаю, где подобрать, куда б скла-а-асть!

Фрол Иваныч вместо ответа хихикнул как-то в себя и мотнул головой.

— Ноне, Фрол Иваныч, в плисе не защеголяем, — продолжал Еж, — у всех тугонько!

— Не пораспустить ли, а?

— Боятся!

— Не натерло еще, выходит?

— У иного и перетерло, да, вишь, трахтуют, кабы волдырь не сплыл: уж больно садко!

— Не раскачались, — погоди!

— Не-е-ет, Данилушка! Видал, чего были-ночка-то боится? Не дождя, не грозы, не холодной росы, а острой косы!

— Фрол Иваныч! — вступился грубый голос, заглушивший собой и говор и смех. — А ты слыхал ли, косы-то бояться, и былью б не расти! Да вот растет же?

— Слыхал я это, Панфилушка, а вот ты-то слыхал ли: зернышко-то на мякине держится, да через мякину и кормится, а все как нарде-ет, так мякину же к земле клонит, а не мяки-на его... отгани-ко вот...

— И прибауток же... ах ты, братец мой... и где это он наковырял их!

— Наковыряешь... как шестьдесят-то семь годков богу и великому государю отслужишь. Много я видывал, други! Видывал, как и зерно мякину гнуло, а колоски с корешком вырыва-ло! Не видал одного только, да и не увижу, чтоб мякина зерно пригнула. И все, други, скажу: ровно прежний-то народ покрепче был, а нынешний что-то жидковат!

— На худой пашне, дядя, и хлеб неизда-шен*, — заметил кто-то из окружающих.

— Э-э-эх!.. одна бы пашня-то и уход-то один бы, да уж так... На крупный народ неурожай пошел, куда ни погляди... Ах, даже говорить-то...

— Аль устал?..

— Устанешь. Язык-то мозолить надоело, и он, что брус, стирается.

— Стало быть, худой брус, коли стирается. Добрую-то брусину не скоро сотрешь.

— Сотрешь и добрую!.. Ржавое железо всякий брус портит, верь!

— Памфил Карпыч, ты с ним не спорь! Загадки пойдет метать, хошь тын городи! И кто это, дядя Фрол, тебя учил им?

— Учил-то меня один бы с вами учитель, да, вишь, не всем, погляжу, эта грамота да-лась...

— Я, дядюшка, первый неграмотный, ты меня в свое слово не путай!..

— Ты, Анчутушка, и сам в своем слове запутаешься.

Общий взрыв хохота прервал Фрола Иваныча, даже сам Анчутка захохотал и закашлялся, схватившись рукою за грудь. Между тем около Фрола Иваныча понемногу стали

группироваться и остальные рабочие.

— Ох, горе да нужда, голод да стужа всему, други, научат, — продолжал Фрол Иваныч, — только не всякой смышлен из энтой грамоты-то выходит!

— Обшлифовала тебя, Фрол Иваныч, наука-то! должно, с нее у тебя и голова, што пузыр, гола!.. — слышалось из среды столпившегося кружка.

Большинство рабочих давно уже покинуло свои занятия и стеснилось около словоохотливого Фрола Иваныча.

— А ты, Данилушка, штой-то плотно броденьки-то чинишь?.. Аль путь-то далек, а? — с лукавой улыбкой спросил он Ежа.

— Мое, Фрол Иваныч, дело такое: не знаешь, где ляжешь, не чуешь, где встанешь! Хочу ноне своим неводом рыбу ловить.

— Закидывай, Данилушка, мутное озеро-то, — улов будет, а я на пяту!..

— Становись, дядя Фрол, старый ум молодому заручка. Хошь пуху не добудем, да перье отстоим. Что ж, братцы, пойдет кто в поплавки к моему неводу, а? — взбросив волосы и весело посмотрев на окружающих, спросил

он.

Фрол Иваныч, низко наклонившись над работой, чтоб скрыть выступившую на лице усмешку, быстро замотал в воздухе иглой.

— А глыбко ты будешь закидывать-то, Данила Филиппыч?..

— Рыба-то поверху не плавает, а по дну! — с улыбкой ответил он.

— С нашего брата пух щиплют — не спрашивают, больно аль нет; так и нам — закидывать, так уж во всю мережу!.. — произнес из толпы пожилой старик.

Кто знаком с русским простолюдином, тот, вероятно, замечал, с какой иногда изумительной легкостью возбуждается он. Одного едкого намека, острого слова бывает достаточно, чтоб пред ним выяснилась истина, до тех пор и не зарождавшаяся в уме его. Но благодаря этой легкости возбуждения он и действует без определенного плана. При всем запасе энергии, в которой нельзя ему отказать, у него недостает твердости выдержать до конца в предпринятом деле. Так и теперь, затаенная дума каждого нашла верный отголосок в общем ропоте неудовольствия, все более и бо-

лее возвышавшемся в среде рабочих.

— Не совсем же ржаво железо-то, Фрол Иваныч, а? — окликнул, подмигнув на гудевшую толпу, молодой парень с курчавыми светлыми, как лен, волосами. — Точил, точил да и на-точил-ил!

Вместо ответа Фрол Иваныч, также усмехнувшись как-то вовнутрь, молча наклонился над своею работой. Фрол Иваныч, как и Еж, пользовался большим авторитетом в среде рабочих. В грубых, но крайне подвижных чертах его лица выражалось много ума и самого наивного добродушия. Небольшие серые глаза в старческих покрасневших веках, окруженные сложною сетью точно иглою проведенных морщин, казалось, не могли выражать иного чувства, кроме смеха, но смеха, никого не оскорбляющего. Это был человек того типа людей, жизнь которых всегда составляет противоречие с выводами, какие они способны делать благодаря своей наблюдательности. Они всегда бескорыстны вследствие своей безграничной доброты и, несмотря на весь свой опыт, на все уроки жизни, всегда доверчивы к людям. Никто не способен к

такой самоотверженной дружбе, как они, и никто не способен в то же время сделать так много зла — при всей своей доброте и незлобivosti, — как они, под увлечением охватившего их чувства. Податливость их натуры способствует уживчивости во всякой среде, при всяких обстоятельствах. Они иногда пользуются значительным влиянием на окружающих, и в то же время никто более, как они, не нуждается в посторонней поддержке, в подчинении влиянию людей, часто стоящих далеко ниже их по своим нравственным качествам, но имеющих более устойчивый характер.

Между Фролом Иванычем и Ежом, несмотря на противоположность их характеров, существовали самые теплые, дружеские отношения. Подобная дружба, не охлаждающаяся ни при каких обстоятельствах, часто встречается в быту народа. У простолюдина нет ничего заветного для любимого человека. Хозяйство их взаимно открыто для пользования друг у друга. Они без спросу берут лошадей, вещи, если встречается в них надобность, берегут в случае отлучек оставляемое на их по-

печение хозяйство с большей заботливостью, чем собственное. Обмануть друга, выдать его в несчастии считается преступлением, для характеристики которого нет и слова.

— Раскачалось, Данилушка, мякину-то, быть дождю с градом! — с иронией произнес Фрол Иваныч, обратившись к Ежу. — Устояла б только!

— Устоит!

На следующий день во флигеле, примыкавшем к главному зданию прииска и квартире управляющего, с вывеской на дверях "Контора", с утра густою массою теснились рабочие. Комната, занимаемая конторою, была обширна. В одном углу ее, огороженном плотную решеткою, сидел главный конторщик, молодой человек с длинными белокурыми волосами. Двое помощников и человека три конюхов окружали его. Несмотря на бессонную ночь, проведенную за сведением расчетов, и конторщик и помощники его были в веселом расположении духа: для них, как и для рабочих, окончание утомительного приискового сезона и выезд на зиму в города — самое веселое время. В среде рабочих шел

оживленный говор и смех. Несмотря на то что дверь была раскрыта настежь и осеннее утро, наступившее после ненастной ночи, было морозно, в комнате царствовала невыносимая духота. У небольшой дверцы, около решетки, стоял конюх, отворяя ее для пропуска за решетку вызываемых в алфавитном порядке рабочих. Расчет их не представляет продолжительной процедуры. Рабочий получает на руки билет, хранящийся в конторе, и принимает счет, в котором выписывается все забранное им, с цифрой стоимости каждой вещи или продукта. Во избежание тесноты рассчитанного рабочего выпускали из конторы в противоположную дверь, также охраняемую конюхом. В то время как в задних рядах рабочих слышался смех и говор, в передних, жавшихся у решетки, наблюдалось молчание. Каждый из рабочих зорко следил за всеми действиями конторщика и особенно за одним из помощников его, сидевшим по правую сторону стола, около высоких стопок ассигнаций и медных и серебряных монет.

— Николая Митрича с зимним деньком, что с горячим блинком! — произнес вдруг

протеснившийся к решетке молодой парень с бойким, выразительным лицом, вытянувшись во фронт перед решеткой.

Выходка эта была встречена общим прокатившимся в толпе смехом; конторщик поднял голову и улыбнулся:

— Ты все с шуточками, не унялся еще!

— Мяли, Николай Митрич, да отстали; из неспорой глины, сказывают, горшка не обожжешь! Не томите душ-то в отпущении грехов! — заключил он, кивнув головой на рабочих.

— Абрамов! Егор Абрамов!.. — произнес конторщик, глядя на толпу.

К решетке протеснился молодой, неуклюжий на вид парень.

— Иди, растопыривай карманы-то! — сострил конюх, затворяя за ним решетку.

— Тридцать два рубля восемьдесят три копейки! — подавая ему билет, счет и деньги, произнес конторщик.

Молча приняв деньги, Абрамов медленно пересчитал их и, немного подумавши, с расстановкой повторил:

— Так энто тридцать-то два рубля всего?

Ловко!

Гул смеха был ответом ему.

— Ловко... ай, ай! — снова повторил он, по-видимому не придя еще в себя от поразившей его цифры. — Это за какие ж бы провины обшарпали-то?

— Тебе дан счет и считай, — ответил тот, не глядя на него.

— Считай! Ты мне словом скажи. Я вот еще неграмотный!

— Акимов!.. — вместо ответа выкликнул конторщик.

Толпа снова заколыхалась, давая дорогу хромоногому старику с худым, морщинистым лицом, обросшим клочками волос вместо бороды. Войдя за решетку, он перекрестился два раза в передний угол и поклонился конторщику.

— Шестьдесят восемь рублей! — подавая деньги, также вместе с билетом и счетом, сказал конторщик.

— Что ж, ответь мне что ни на есть! — снова обратился к нему Абрамов.

— Что ж тебе ответить-то?..

— За что обшарпали-то меня! По моему-то

счету, боле ста рублей надоть на руки бы!

— Сосчитал же! — с усмешкой обратился к конторщику сидевший около него помощник.

— А ты думал, что мужик, так и счету не знаю, — прервал его Абрамов, весь вспыхнув и встряхнув волосами. — Нет, я, брат, еще тебя научу!

В это время и старик, пересчитав деньги, засмеялся и робко произнес:

— Маловато бы и мне-то, ровно!

— Чего ты ждешь еще? — нахмутив брови, спросил конторщик, обращаясь к Абрамову. — Тебя рассчитали!

— Нет!

— Как нет, ведь ты деньги получил?

— Додачи жду! Мне следует сто рублей, а кинул, что собаке кость, и рассчитал! Нет, но не у нас у самих головы-то не в обручах, ты вот и языком шевельнуть не хошь, за што обшарпал, даешь и спрашиваешь: чего мне надоть! Я знаю, чего мне надоть, мне мои деньги подай!

— Да ты пьян, верно? — с удивлением произнес конторщик.

— Студеной воды два ковша выпил, точно!

А ты, почтенный, не напоивши, не кори!
Пьян! С обману-то вашего охмелеешь!

— Ты забылся? Где ты стоишь?

— Места не продавлю, не бойся!

— Выведите его! — весь покраснев, обратился конторщик к конюхам.

— Это вместо расчета-то! Нет, я еще не пойду, ты мне, наперво, подай мое кровное да тогда уж гони! Слышь, братцы, выводить хотят! — обратился Абрамов к толпе, среди которой царило глубокое молчание.

— Егорка! Подь лучше без греха! — вступился один из конюхов, неохотно придвигаясь к нему.

— Мне мое подай, тогда и сам уйду, а ты не подходи!.. и, ей-богу, не подходи, коли скула цела!

Но не прошло и минуты, как с криком: "Братцы, что ж это, ограбили, да и гонят!" — он вылетел за дверь конторы и, присев на земляную завалину, заплакал, уткнув голову в руки, забыв и о шапке, выпавшей из рук его при борьбе с конюхом и выброшенной далеко от двери в грязь.

Что-то неясное пробежало в толпе, и вслед

за тем снова наступила тишина.

— А ты чего ждешь? — спросил конторщик не то усталым, не то взволнованным голосом рассчитанного старика. — Ведь деньги получил?

— Получил, получил, дай тебе бог! Только, говорю, маловато бы, ровно... ну, да уж коли что... так чего говорить... гоняете! А-а-ах! — и сжав счет и деньги в руках, он направился к той двери, откуда был выпровожен Абрамов.

Вызванный вслед за ним, по порядку, высокий, сутуловатый рабочий молча всунул полученный билет за пазуху, пересчитал деньги и, размотав веревку, прикреплявшую к ноге голенище бродня, заложил за него деньги и угрюмо спросил конторщика:

— Все?

— Все!.. — ответил тот, вопросительно посмотрев на него.

— Видать, густо месили, да хлебать нечего! — задумчиво произнес он. — Неуж и все тут? — снова спросил он. — В эфтакой-то порции обсчитывать нашего брата, на мой мужицкий ум, — грабеж.

— Выражайся полегче, любезный! —

предостерег его конторщик, весь покраснев. — В другом месте можешь говорить что угодно, а здесь будь вежлив!

— Слово-то не обух, не бьет! И у березки слезки, текут, когда с нее лыко дерут, — не токма наше дело! Заговоришь, как в три-то скребла огребают! А-а-ах, правда! без пути пустырями по свету бродишь, только к людям не заглядываешь! Дай вам господи чужие крохи есть, не давиться; людской слезой, что соленой водой, не напиться. Экая совесть-то у людей, братцы! — обратился он к толпе. — Почесть, третьей доли не дали того, что доводится, а-а!..

— Выведите его! — обратился к конюхам начинавший выходить из терпения конторщик.

— Доколь же это, братцы, глумиться-то над нами будут?

— Иди, иди, Вавило, нечего! — произнес один из конюхов, беря его под руку.

Толпа заколыхалась, и к решетке выступил Еж.

— Иди, Вавило! — произнес он среди невозмутимого молчания. — А ты, ваше по-

чтение, кликни нам управляющего! — обратился он к конторщику. — Мы с ним поговорить хотим!

— О чем это? — спросил его смутившийся конторщик. — Если что нужно, говорите, я передам.

— В чужую кашу, ваше почтение, свою ложку не суй... Мы ее и своими расхлебаем!..

— Ты кто такой, чей прозываешься?..

— Карпов, а завсе-то Ежом зовусь.

Конторщик молча переглянулся с своими помощниками, лица которых, как и его собственное, выражали полное недоумение. Переглянулись между собой и конюха, поняв, что затевается что-то недоброе и что роль их чуть ли не окончена. Подумав немного и снова посмотрев на толпу, в среде которой хранилось мертвое молчание — признак твердо принятого решения, — конторщик встал и, собрав документы и деньги, сложил их в стол, запер его и вышел из конторы.

При редком расчете приисковых рабочих не возникает между ними недовольствия на неправильную оценку труда, на высокие цифры, проставляемые за забранные ими товары

и продукты. Подобные натяжки при расчетах с рабочими встречаются не только у тех золотопромышленников, дела которых идут плохо и с году на год грозят падением, но и при хорошей организации хозяйства, при благодарном вознаграждении произведенных затрат. Гнет этот всегда идет через руки управляющих приисками, которым вверяется распоряжение работами и вся административная деятельность на правах самостоятельных лиц. Чем больше управляющий соблюдает интересы своего хозяина, тем более гарантирует прочность своего положения, всегда завидного благодаря хорошему содержанию и полному материальному обеспечению.

Василий Никитич Кудряшов, управляющий Г — м прииском, находившимся в ведении конкурса, учрежденного над делами одной из золотопромышленных компаний, не пользовался хорошей репутацией не только между рабочими, но и у других служащих. Человек он был пожилой, с значительной проседью в коротко остриженных волосах и окладистой бородке, пользовавшийся завидным здоровьем благодаря постоянной физи-

ческой деятельности. Подобострастный и хитро вкрадчивый с высшими, он не знал границ произволу с людьми, зависящими от него.

Как все коренастые, полнокровные люди, он был вспыльчив до исступления, причем хриплый голос его сипел, глаза наливались кровью, и горе было не только рабочим, но и конторщикам и надсмотрщикам, подвергавшимся в эти минуты припадкам его гнева. Он рассыпал удары направо и налево, не разбирая ни правых, ни виновных, и считал не только ненужным, но неприличным для своего звания извиняться перед невинно пострадавшими, когда выяснялось дело. Рабочие, окрестив его названием "Крутолобый", боялись его. За Василием Никитичем было много дел, которые другому бы не прошли безнаказанно, но, находясь более чем в интимных отношениях с председателем конкурса и имея репутацию хорошего управляющего, он пользовался неограниченным доверием и заступничеством в случае возникающих жалоб.

Одна неопытность или необходимость отработать забранное гнала рабочих на Г — ий прииск. Василий Никитич никогда не присут-

ствовал при расчетах, предоставляя выносить ропот неудовольствия и нареканий конторщику. Сидя теперь в комфортабельно убранной комнате, стены которой вместо обоев были увешаны коврами, он сверял приисковые шнуровые книги и черновой отчет о приходе и расходе сумм за летний сезон. Переданное ему желание рабочих видеть его и говорить с ним неприятно подействовало на него. Откинувшись на высокую спинку кресла, он побагровел; глаза его сузились, и большой палец правой руки быстро завертелся около рта. Василий Никитич понял, зачем рабочие желают видеть его и о чем будут говорить с ним. Не сказав ни слова конторщику, он встал, надел вместо халата бешмет, опушенный беличьим мехом, и, опустив в карман небольшой шестиствольный револьвер, постоянно заряженный и всегда лежавший у его постели, вышел в сопровождении конторщика.

При входе в контору он зачерпнул из ушата, стоявшего у двери, воды в небольшой жестяной ковш и, выпив несколько глотков, отер рот и усы рукавом бешмета и взялся за дверную скобу. Но прежде чем отворил дверь,

пасмурное лицо его, способное повиноваться воле своего хозяина, приняло совершенно иное выражение. Морщины на лбу разгладились, сжатый рот раздвинулся в улыбку; только глаза совершенно скрылись, чуть прорезываясь из сдвинувшихся век, да яркий румянец выдавал еще следы недавнего волнения. Василий Никитич, как и все недаром прожившие на свете люди, умел владеть собой и подавлять свой гнев, прикрывая его улыбкой там, где требовали того обстоятельства.

— Здравствуйте, голуби, здравствуйте! — улыбаясь и потирая руки, приветствовал он молчавшую толпу. И, смутившись, не получая ответа от нее, быстро заговорил: — Ну вот, слава богу, и работы покончили, по домам теперь, на покой к бабам... то-то с голодухи-то, поди, а-а... ха-ха! — сострил он, подходя к решетке. — Ну что, голуби, обо мне соскучились, а? Спасибо за память!..

— Мы, ваше почтение, все помним! — ответил ему Еж, глаза которого заискрились и лицо приняло свойственное ему одушевленное выражение. — Только вы-то нас забыли!

— Как же это, чем же я-то забыл вас? Ба-ба-

ба... да ты, никак, знаком еще мне! — вместо улыбки неприятно скривив рот, спросил он, пристально всматриваясь в него.

— Видались за лето-то!

— Помню, помню, как бишь тебя?..

— Еж, ваше почтение! — подсказал он смело, в упор глядя на него.

— Да, да, да!.. Кто ж это тебя окрестил-то так, а?.. Еж... этакое имени и в святцах нет... ха, ха, ха!.. Не поп ведь, поди, а?..

— Никак нет-с... а уж так, по шерсти и кличку мир дает!

— О-о! Да ты говорок!

— Таежные дорожки всякую шину вгладь оботрут, ваше почтение!

— Говоро-ок!.. — протянул Василий Никитич, чувствуя свое неловкое положение и не зная, с чего начать свое щекотливое объяснение с рабочими. — Так что, бишь... зачем вам меня-то, а?.. — спросил вдруг он, обратившись к толпе.

— Обкроили уж больно, Василий Никитич, покромки-то у вашего суконца широки, нельзя ли поуже, сле-озно мир просит! — ответил ему Еж.

— То есть что же это? Я не понимаю!

— Расчеты-то ваши-с на вид-то гладки-с, да на ощупь шаршавы, пожалуй, и карманы протрут!

— А-а... да, да! Понимаю! Значит, по вашим покровкам расчет-то пригнать? — шутливо спросил он.

— Обоюдное бы дело! Мы для вас радели, а вы об нас!..

— Сколько кто хочет, столько и дать, а? Так, что ли? — снова спросил он.

— Обрадовали бы...

— Знаю, знаю!.. И сам знаю, молодцы, — обратился он к толпе, — что обрадовал бы вас, да не моя воля... Не я хозяин, вы наших дел не знаете! Я ведь и сам понимаю, что если ты... ну как бишь тебя, Еж, что ли?

— Еж... так точно-с!

— Ну, ты, например, взял бродни из цейхгауза... они стоят рубль...

— По ихним качествам, Василь Никитич, вся им цена — тьфу!

— А знаешь ли, что, по справедливости-то, я должен бы ставить их в счет три рубля. Мне так и конкурс приказывает, а я ставлю их в

два, — на свой счет рубль принимаю, чтоб только вас не обидеть! Так сколько же этих-то рублей у меня из кармана выходит?

— Не наше дело хозяйский расчет вести! — слышалось из толпы.

— У хозяев и карман-то, Василь Никитич, толще вековой сосны: есть из чего и к нашему брату снизойти!.. — серьезно произнес Еж.

— У них тыщи, — снова заговорили в толпе, — а у нас крохи; у них лишнюю тыщу потрясти — горе берет, а у нас последнюю кроху отбирают!

— Сказано, что к ихней совести правда, что к сухой лопате песок, не пристанет! Вот ты бы, Василь Никитич, сам поробил, так проведаль бы, каково оно! И ты бы заговорил, как у тебя стали бы твое-то добро обкраивать!

— Это кто там говорит? Покажись-ка сюда!.. — произнес, побагровев, Кудряшев.

— Кто бы ни говорил там, а ты знай слушай да мотай на ус!

Нижняя губа Василия Никитича дрогнула, рука, сжавшаяся в кулак, уперлась в решетку, как бы ища опоры.

— Оно точно, Василь Никитич, — снова

вступился Еж, — по вашим словам, хозяевам расход большой, только, на мой бы ум, за плевые вещи им бы и убытчиться не след, и мужиков бы не зорить. Лонского году торгующий завез было сюда товары, так ваша же милость приказали его выпроводить, а он не в пример дешевле брал! Тогда бы, значит, и нам бы льгота, и хозяину без разоренья! — с иронией заключил он, смотря на смущенное неожиданном аргументом его лицо Василия Никитича. — Вот он, зипунчик-то, за лето-то, изволите видеть, окромя как на невод, никуда не пригож, а тоже пятнадцать рубликов поставили, а ему и вся-то цена с лихвой бы пять!

— Зачем же брал, если он дурен и дорог? Ведь не навяливали силой?

— Оно точно! Да ведь хоша народ мы и теплый, а все своя-то овчина не греет... Холодно, и плачешь, да берешь.

— А согрелся, так и хозяйский зипун показался дорог и худ?

— Да от него согреву-то немного видали, Василь Никитич. Только слава, што на плечах зипун, а все более из своей же каменки пару в

кулаки поддавали. Так уж будьте по-божески, не обидьте сирот, спустите ценки-то! Лишняя сотенка хозяйского кармана не натрудит, а бедному человеку помога. Ноне же на золотце-то урожай бог послал, а хозяевам-то заручка через наши же ручки плывет!.. У путного хозяина, Василь Никитич, сказывают, и скотина хворает, так уход видит; а ведь мы тоже божье творенье, уж снизойдите, не вычитайте хворых-то дней из платы! Навек ведь мы богомольцы за вас!

— Прежде чем говорить-то бы все это, ребята, да бунт-то затевать, спросили бы, могли я еще спустить цены-то? Разве мое добро, разве я хозяин ему? Кого спросят, какое я имел право самовольно распорядиться чужим добром, вас или меня, а?..

— Известно, вас, это точно-с!..

— А-а-а!.. А что же я должен буду ответить на это?..

— Не мне бы вашу милость учить, да уж коли приказываете, поперек воли начальства не пойдем! Ответьте, ваше почтение, что я, мол, не скариотский Ирод, и у меня, мол, душа есть! Э-э-эх, ваше почтение, Василь Ники-

тич! Привел бы вам бог на наших-то кормах денечек побыть, так поосунулись бы, румянчик-то с личика — что девичья притирка — к ночи бы пооблез! От одного битья-то вашего не одна спинка погоду чувствует. Много православных за нонешнее лето вынесло на них зарубочек на память о вашем раденье и добродетели к нам! Вот Иван-то Малый совсем без ног, неси его теперь, как молоденца малого, в дом-то! Придет, что к пустому срубу, ни поест, ни погреться! А вы и тут вычли все дни! Господи, да неуж к человеку у вас и жалости-то нету! Что ж, значит, и последний час кого настигнет и тут иди, робь! За мужика, ваше почтенье, некому стоять; у него нет защитников, всякий только и норовит из его же овчинки шубку сшить, — так уж вы, ваше почтение, в свою-то речь хозяев не путайте. Мы тоже люди бывалые. Родились-то хоша и дураками, а знаем, что вы тут хозяин, в вашей воле все! Так уж рассчитайте вы нас по-божески, а без этого мы ноне и миром положили обратной дорожки в лесу не прокладывать!

— А-ай, Е-ож, важно! И ей-богу, правда!.. — проносилось в колыхавшейся толпе все вре-

мя, когда говорил он.

Положение Кудряшева было более чем жалко: он то бледнел, то краснел, но все-таки настолько владел собой, что сохранил веселое выражение в лице.

— Молодец, Еж! Молодец!.. Теперь вижу, что не даром тебя окрестили так, — шутливо ответил он наконец, фамильярно потрепав Ежа по плечу через разделяющую их решетку.

— Он у нас парень — голой рукой не хватай, ваше почтение! — со смехом откликнулись в толпе.

— А задали вы мне, ребята, задачу! Как и быть-то с вами? — задумчиво произнес Кудряшев. — Ну, я спущу цену, облегчу вас, — а что же хозяева на это скажут? Да у меня еще, молодцы, и денег-то не хватает!

— Неуж обнищали, ваше почтение?..

— В обрез, милые! Ведь нам хозяева-то присылают — не разгуляешься, а дай бог у нитки х ниткой концы сплесть!

— Свои потревожьте; хозяева вашу милость не обочтут! — с иронией ответил Еж.

— Свои!.. А ты считал в моем-то кармане?

— Мы, ваше почтение, и в своих-то отвыкли высчитывать, так уж нам ли чужой мерить, глубок аль мелок?

— И спроси прежде, еще есть ли свое-то?

— Полагать бы надоть...

— Почему-ж... ну-ко?

— По приметам бы...

— Каким? Что на лбу написаны?

— По нашей, по мужичьей, примете мы судим. На нашу сметку, ваше почтение, коли у человека денег нет, так он и ростом ровно пониже выглядит, и с лица будто темней! А человек с деньгой, не во гнев вашей милости, и белей, и румяней... И усмешка на алых устах, и живот, как у вашей же милости!

— Ну, так вот что, молодцы, слушайте, — обратился к толпе управляющий.

Толпа стихла и сдвинулась к решетке, надавив на передние ряды.

— Так и быть, исполню вашу просьбу, спущу вам по рублю... довольны ли?..

— Обрадовал, ха-ха-ха... ну-у! — прокатилось в толпе. — На помин по душе хватит!

— Ну, по сколько же, наконец?

— Самонастоящую хозяйскую ценку при-

киньте, будьте милостивы! а рублик-то мы уж на расходы жертвуем, будто как хозяйские убытки прикрыть...

— Не мелко же ты забрел, любезный!

— В глыбком месте более простору, ваше почтение, по крайности, есть где поплавать, ручки, ножки расправить.

— Не могу! — решительно ответил управляющий.

— Ва-аше почтение!

— И не просите, не могу! Что можно сделать, то сделаю по совести. А больше не просите!

— Ах, ваше почтение, на все бы власть ваша, да уж коли вы не можете — что ж, и мы свое слово колышками подопрем!

— Слово... какое слово?

— Обратной дорожки в лесу не протапывать!

— Силой хотите принудить, что ли?

— Силой-то и детеныш у матки молока не выпросит, а все более лаской, ваше почтение! Мы с доброго слова просим!

— Вы одумайтесь, чего вы просите!.. — прервал его взволнованным голосом Василий

Никитич.

— Одумайся-ко ты, ваше почтение! — выдвинувшись к решетке, произнес Фрол Иванович. — Наша-то дума надумана!

По лицу Василия Никитича внезапно пробежало веселое настроение. Он широко улыбнулся, раскрыл глаза, в которых просвечивалась лукавая насмешка.

— Ну что ж... ребята, как же, а? Хозяйские цены взять, что ли, а?.. — весело спросил вдруг он. — А?.. обрадовать...

— Истинно, ваша милость! То-ись, ах, как обрадуете!

— А надброс-то ваш братъ, а? — заигрывающим голосом продолжал он.

— Рублик-то-с?

— Ха... ха... ну, ну, что делать! — обратился он к конторщику. — Уважим им, Николай Дмитрич! На будущий год, может быть, и они нам за это горы разгребут! Так, молодцы, чтоль?

— Озолотим!.. — почти в голос ответила толпа.

Более прозорливому наблюдателю невольно бы бросились в глаза и внезапная беспри-

чинная веселость, неподдельно выразившаяся в лице Василия Никитича, и уступчивость этого человека, за минуту еще упорно стоявшего на своем. Все это неминуемо породило бы сомнение в справедливости его слов. Но не таков был стоявший перед ним простодушный, доверчивый народ, принимавший всякое слово за чистую монету. Только конторщик догадался, что Василь Никитич задумал что-то, да в уме Ежа мелькнуло недоверие.

— Значит, ваше почтение, по хозяйским ценам рассчитываете нас? — спросил он.

— Ведь я сказал! Что ж еще?

— И у больных не вычтете? — тем же тоном спросил он, пытливо и недоверчиво смотря в глаза его.

— Я, братец, не привык обманывать! Понимаешь?

— Пошли вам господи!.. Простите, что побидели...

— Вот это дело! Наговорить-то, ребята, вы много наговорили мне. Особливо вот ты, братец, напел! — обратился он к Ежу. — Не злопамятен я, всегда готов для человека добро

сделать!..

— Простите, коли лишнее что сгрубил, ваше почтение!..

— Я добрый, ребята!

— Ужо уж при получке похвалим, ваше почтение!..

— Ну, получку-то, молодцы, вам все-таки подождать нужно. Ведь вас сто пятьдесят человек, переделать-то все расчеты не легко; дня три-четыре нужно. А теперь за то, что поладили делом, — так и быть, уж распорядись, Николай Дмитрич, выдать им по чарке водки!

И заликовал прииск после поднесенной чарки водки, зашумел в бараках говор, полились и веселые песни, и не было счета благословениям и похвалам из простодушных уст добродетельному Василию Никитичу, который через час после этой сцены послал донесение о бунте рабочих с надежным верховым конюхом горному исправнику, резиденция которого находилась в 80 верстах от этого прииска.

Через двое суток на прииск прискакал исправник в сопровождении конвоя казаков.

Следствие о беспорядках было непродолжительно. Главные зачинщики: Еж, Фрол Иваныч и Памфил Карпыч были отправлены в Т... острог, остальные под конвоем препровождены обычным порядком.

Не прошло и полугода, как Фрол Иваныч и Памфил Карпыч, оставленные по приговору судебного места в подозрении, были выпущены из острога без всяких последствий. Старик Фрол не покинул Ежа до самого решения дела. Пропитываясь милостыней, он оделял его деньгами и утешал теплым словом. Ежедневно, во всякую погоду, можно было встретить его идущим в острог или со связкой крендельков в руках, или с булкой и с туяском молока. С искренними слезами горя на глазах он проводил его по широкой дорожке, проторенной не колесом, не копытом, а людским горем...

ПРИМЕЧАНИЯ

Все включенные в данную книгу рассказы Н. И. Наумова написаны на материале жизни крестьян и рабочих Сибири. Автор родился в Тобольске, служил в Омске и Томске советником губернского правления. Умер в Томске. Писать начал в 1859 году. Печатался в газете "Искра", в передовых журналах: "Современник", "Дело", "Отечественные записки", "Русское богатство".

Рассказы Н. Наумова почти документальны по своей фактической точности. В них, как правило, указаны и местность, где происходит действие, и время.

"Деревенский торгош" напечатан в 1871 году в журнале "Дело" № 4, "Юрская" — в 1872 году в журнале "Дело" № 7 и 11, "Еж" — в 1873 году в журнале "Отечественные записки" № 7

Все три произведения вместе с другими, наиболее острыми по политической направленности, были включены автором в сборник "Сила солому ломит", с подзаголовком: "Рассказы из быта сибирских крестьян", который

вышел в 1874 году.

Сборник этот был настольной книгой у деятелей революционного народничества и сыграл большую роль в их агитационной работе среди крестьянства.

Примечания

Горы, заросшие лесом. Тайгой называют в Сибири и местности, в которых расположены золотые прииски. — Прим. автора.

[^^^]

2

Бывают примеры, что рабочие платят и по 2 р. за чарку, если почему-нибудь приостанавливается отпуск им вина. — Прим. автора.

[^^^]